

# Омон Ра

Героям Советского Космоса

**Taken: , 1**

# 1

Омон – имя не особо частое и, может, не самое лучшее, какое бывает. Меня так назвал отец, который всю свою жизнь проработал в милиции и хотел, чтобы я тоже стал милиционером.

– Пойми, Омка, – часто говорил он мне, выпив, – пойдешь в милицию – так с таким именем, да еще если в партию вступишь...

Хоть отцу и приходилось иногда стрелять в людей, он был человек незлой души, по природе веселый и отзывчивый. Меня он очень любил и надеялся, что хотя бы мне удастся то, что не удалось в жизни ему. А хотел он получить участок земли под Москвой и начать выращивать на нем свеклу и огурцы – не для того, чтобы продавать их на рынке или съедать, хотя и это все тоже, а для того, чтобы, раздевшись до пояса, рубить лопатой землю, смотреть, как шевелятся красные черви и другая подземная жизнь, чтобы возить через весь дачный поселок тачки с навозом, останавливаясь у чужих калиток побалагурить. Когда он понял, что ничего из этого у него не выйдет, он стал надеяться, что счастливую жизнь проживет хотя бы один из братьев Кривомазовых (мой старший брат Овир, которого отец хотел сделать дипломатом, умер от менингита в четвертом классе, и я помню только, что на лбу у него была продолговатая большая родинка).

Мне отцовские планы на мой счет особого доверия не внушали – ведь сам он был партийный, имя у него было хорошее – Матвей, но все, что он себе выслужил, это нищую пенсию да одинокое старческое пьянство.

Маму я помню плохо. Осталось в памяти только одно воспоминание – как пьяный папа в форме пытается вытянуть из кобуры пистолет, а она, простоволосая и вся в слезах, хватается его за руки и кричит:

– Матвей, опомнись!

Она умерла, когда я был совсем маленьким, и я вырос у тетки, а отца навещал по выходным. Обычно он был опухший и красный, с косо висящим на засаленной пижамной куртке орденом, которым он очень

гордился. В комнате у него нехорошо пахло, а на стене висела репродукция фрески Микеланджело «Сотворение мира», где над лежащим на спине Адамом парит бородатый Бог, простерший свою длань навстречу тонкой человеческой руке. Эта картинка довольно странно действовала на душу отца, и, видно, что-то ему напоминала из прошлого. У него в комнате я обычно сидел на полу и играл с маленькой железной дорогой, а он храпел на раздвинутом диване. Иногда он просыпался, некоторое время щурил на меня глаза, а потом, опершись о пол, свешивался с дивана и протягивал мне большую венистую кисть, которую я должен был пожать.

– Фамилия твоя как? – спрашивал он.

– Кривомазов, – отвечал я, подделывая застенчивую улыбку, и он гладил меня по голове и кормил конфетами; все это выходило у него так механически, что мне даже не было противно.

О тетке мне сказать почти нечего – она была ко мне равнодушна и старалась, чтобы я больше времени проводил в разных пионерлагерях и группах продленного дня – кстати сказать, удивительную красоту последнего словосочетания я вижу только сейчас.

Из своего детства я запомнил только то, что было связано, так сказать, с мечтой о небе. Конечно, не с этого началась моя жизнь – еще раньше была длинная светлая комната, полная других детей и больших пластмассовых кубиков, беспорядочно разбросанных по полу; были обледенелые ступени деревянной горки, по которым я торопливо топал вверх; были какие-то потрескавшиеся юные горнисты из крашенного гипса во дворе и много другого. Но вряд ли можно сказать, что все это видел я: в раннем детстве (как, быть может, и после смерти) человек идет сразу во все стороны, поэтому можно считать, что его еще нет; личность возникает позже, когда появляется привязанность к какому-то одному направлению.

Я жил недалеко от кинотеатра «Космос». Над нашим районом господствовала металлическая ракета, стоящая на сужающемся столбе титанового дыма, похожем на воткнутый в землю огромный ятаган. Странно, но как личность я начался не с этой ракеты, а с деревянного самолета на детской площадке у своего дома. Это был не совсем самолет, а скорее домик с двумя окошками, к которому во время ремонта прибили сделанные из досок снесенного забора крылья и хвост, покрыли все это

зеленой краской и украсили несколькими большими рыжими звездами. Внутри могло поместиться человека два-три, и еще был небольшой чердачок с глядящим на военкоматовскую стену треугольным окошком – по негласному дворовому соглашению этот чердачок считался пилотской кабиной, и когда самолет сбивали, сначала выпрыгивали те, кто сидел в фюзеляже, и только потом, когда земля уже с ревом неслась к окнам, пилот мог последовать за остальными – если, конечно, успевал. Я всегда старался оказаться пилотом и даже овладел умением видеть небо с облаками и плывущую внизу землю на месте кирпичной стены военкомата, из окон которого безысходно глядели волосатые фиалки и пыльные кактусы.

Я очень любил фильмы про летчиков; с одним из таких фильмов и было связано сильнейшее переживание моего детства. Однажды, в космически черный декабрьский вечер, я включил теткин телевизор и увидел на его экране покачивающий крыльями самолет с пиковым тузом и крестом на фюзеляже. Я наклонился ближе к экрану, и на нем сразу же возник увеличенный фонарь кабины: за его толстыми стеклами улыбалось нечеловеческое лицо в очках вроде горнолыжных и в шлеме с блестящими эбонитовыми наушниками. Пилот поднял ладонь в перчатке с черным раструбом и помахал мне рукой. Потом на экране появился фюзеляж другого самолета, снятый изнутри: за двумя одинаковыми штурвалами сидели два летчика в полушубках и внимательно следили сквозь перехваченный стальными полосами плексиглас за эволюциями вражеского истребителя, летевшего совсем рядом.

– «Ме-сто девять», [\[1\]](#) – сказал один летчик другому. – Сажать будут.

Другой, с красивым испитым лицом, кивнул головой.

– Зла на тебя не держу, – сказал он, видимо, продолжая прерванный разговор. – Но запомни: чтоб у тебя это с Варей было на всю жизнь... До могилы.

Тут я перестал воспринимать происходящее на экране – меня поразила одна мысль, даже не мысль, а ее слабо осознанная тень (словно сама мысль проплыла где-то рядом с моей головой и задела ее лишь своим краем), – о том, что если я только что, взглянув на экран, как бы посмотрел на мир из кабины, где сидели два летчика в полушубках, то ничто не мешает мне попадать в эту и любую другую кабину без всякого телевизора, потому что

полет сводится к набору ощущений, главные из которых я давно уже научился подделывать, сидя на чердаке краснозвездной крылатой избушки, глядя на заменяющую небо военкоматовскую стену и тихо гудя ртом.

Это неясное понимание так потрясло меня, что остаток фильма я досмотрел не очень внимательно, включаясь в телевизионную реальность только при появлении на экране дымных трасс или набегающего ряда стоящих на земле вражеских самолетов. «Значит, – думал я, – можно глядеть из самого себя, как из самолета, и вообще неважно, откуда глядишь, – важно, что при этом видишь...» С тех пор, бредя по какой-нибудь зимней улице, я часто представлял себе, что лечу в самолете над заснеженным полем; поворачивая, я наклонял голову, и мир послушно кренился вправо или влево.

И все же тот человек, которого я с полной уверенностью мог бы назвать собой, сложился позже и постепенно. Первым проблеском своей настоящей личности я считаю ту секунду, когда я понял, что кроме тонкой голубой пленки неба можно стремиться еще и в бездонную черноту космоса. Это произошло в ту же зиму, вечером, когда я гулял по ВДНХ. Я шел по пустой и темной заснеженной аллее; вдруг слева донеслось жужжание, похожее на звонок огромного телефона. Я повернулся и увидел его.

Откинувшись назад и сидя в пустоте, как в кресле, он медленно плыл вперед, и за ним так же медленно распрямлялись в пространстве шланги. Стекло его шлема было черным, и только треугольный блик горел на нем, но я знал, что он видит меня. Возможно, уже несколько веков он был мертв. Его руки были уверенно протянуты к звездам, а ноги до такой степени не нуждались ни в какой опоре, что я понял раз и на всю жизнь, что подлинную свободу человеку может дать только невесомость – поэтому, кстати, такую скуку вызывали у меня всю жизнь западные радиоголоса и сочинения разных солженицыных; в душе я, конечно, испытывал омерзение к государству, невнятные, но грозные требования которого заставляли любую, даже на несколько секунд возникающую группу людей старательно подражать самому похабному из ее членов, – но, поняв, что мира и свободы на земле не достичь, духом я устремился ввысь, и все, чего потребовал выбранный мною путь, уже не вступало ни в какие противоречия с моей совестью, потому что совесть звала меня в космос и мало интересовалась происходящим на Земле.

Передо мной была просто освещенная прожектором мозаика на стене павильона, изображавшая космонавта в открытом космосе, но она за один миг сказала мне больше, чем десятки книг, которые я прочел к этому дню. Я смотрел на нее долго-долго, а потом вдруг почувствовал, что кто-то смотрит на меня.

Я оглянулся и увидел у себя за спиной мальчика моего возраста, который выглядел довольно необычно – на нем был кожаный шлем с блестящими эбонитовыми наушниками, а на шее у него болтались пластмассовые плавательные очки. Он был выше меня на полголовы и, вероятно, чуть постарше; войдя в освещенную прожектором зону, он поднял ладонь в черной перчатке, растянул губы в холодной улыбке, и перед моими глазами на секунду мелькнул летчик в кабине истребителя с пиковым тузом.

Его звали Митёк. Оказалось, что мы живем совсем рядом, хоть и ходим в разные школы. Митёк сомневался во многих вещах, но одно знал твердо. Он знал, что сначала станет летчиком, а потом полетит на Луну.

**Taken: , 1**



## 2

Есть, видимо, какое-то странное соответствие между общим рисунком жизни и теми мелкими историями, которые постоянно происходят с человеком и которым он не придает значения. Сейчас я ясно вижу, что моя судьба уже вполне четко определилась в то время, когда я еще даже не задумывался всерьез над тем, какой бы я хотел ее видеть, и больше того – уже тогда она была мне показана в несколько упрощенном виде. Может быть, это было эхо будущего. А может быть, то, что мы принимаем за эхо будущего, – на самом деле семя этого будущего, падающее в почву в тот самый момент, который потом, издали, кажется прилетавшим из будущего эхом.

Короче, лето после седьмого класса было жарким и пыльным. Из его первой половины мне запомнились только долгие велосипедные прогулки по одному из подмосковных шоссе. На заднее колесо своего полугоночного «Спорта» я ставил специальную трещетку из куска сложенной в несколько раз плотной бумаги, прикрепленной к раме прищепкой, – когда я ехал, бумага билась о спицы и издавала быстрый тихий треск, похожий на шум авиационного двигателя. Несясь вниз с асфальтовой горы, я много раз становился заходящим на цель истребителем, далеко не всегда советским, но вина тут была не моя, просто в самом начале лета я услышал от кого-то идиотскую песню, в которой были слова: «Мой „Фантом“, как пуля быстрый, в небе голубом и чистом с ревом набирает высоту». Надо сказать, что ее идиотизм, который я достаточно ясно осознавал, не мешал мне трогаться ею до глубины души. Какие еще я помню слова? «Вижу в небе дымную черту... Где-то вдалеке родной Техас». И еще были отец, и мать, и какая-то Мэри, очень реальная из-за того, что в песне упоминалась ее фамилия.

К середине июля я вернулся в Москву, а потом родители Митька достали для нас путевки в пионерлагерь «Ракета». Это был обычный южный лагерь, может быть, даже немного лучше других. Я хорошо запомнил только первые дни, которые мы там провели, но именно тогда и случилось все то, что потом стало существенным. В поезде мы с Митьком бегали по вагонам

и сбрасывали в унитазы все бутылки, которые мне удавалось найти, – они падали на несущееся под крохотным люком железнодорожное полотно и неслышно лопались; привязавшаяся ко мне песенка придавала этой простой процедуре привкус борьбы за свободу Вьетнама. На следующий день всю смену, ехавшую одним поездом, выгрузили на мокром вокзале южного города, пересчитали и посадили в грузовики. Мы долго ехали по дороге, петлявшей между гор, потом справа появилось море и к нам поплыли разноцветные домики. Нас выгрузили на асфальтовый плац, построили и повели вверх по обрамленной кипарисами лестнице к плоскому стеклянному зданию на вершине холма. Это была столовая, где нас ждал холодный обед, хотя пора было ужинать, – мы приехали на несколько часов позже, чем ожидалось. Обед был довольно невкусный – суп с макаронными звездочками, курица с рисом и компот.

С потолка столовой на нитях, облепленных какой-то липкой на вид кухонной дрянью, свисали картонные космические корабли. Я загляделся на один из них. Неизвестный оформитель потратил на него много фольги и густо исписал его словом «СССР». Корабль висел перед нашим столом, и на его фольге оранжево сияло закатное солнце, которое вдруг показалось мне похожим на прожектор поезда метро, зажигающийся в черной дали тоннеля. Отчего-то мне стало грустно.

Митёк, наоборот, был разговорчив и весел.

– В двадцатых годах были одни космические корабли, – говорил он, тыча вилкой вверх, – в тридцатых – другие, в пятидесятых – вообще третьи, и так далее.

– Какие еще в двадцатых годах космические корабли? – вяло спросил я.

Митёк на секунду задумался.

– У Алексея Толстого были такие большие металлические яйца, в которых через крохотные промежутки времени происходили взрывы, дававшие энергию для движения, – сказал он. – Это основной принцип. Ну а вариантов может быть много.

– Так они же никогда на самом деле не летали, – сказал я.

– А эти тоже не летают, – ответил он и показал на предметы нашего разговора, которые чуть качались от сквозняка.

Я понял, наконец, что он имел в виду, хотя вряд ли сумел бы четко это выразить в словах. Единственным пространством, где летали звездолеты коммунистического будущего – кстати, встречая слово «звездолет» в фантастических книгах, которые я очень любил, я почему-то считал, что оно связано с красными звездами на бортах советской космической техники, – так вот, единственным местом, где они летали, было сознание советского человека, точно так же как столовая вокруг нас была тем космосом, куда жившие в прошлую смену запустили свои корабли, чтобы те бороздили простор времени над обеденными столами, когда самих создателей картонного флота уже не будет рядом. Эта мысль наложилась на особую непередаваемую тоску, которую всегда вызывал у меня пионерлагерный компот из сухофруктов, и мне пришла в голову странная идея.

– Я раньше очень любил клеить пластмассовые самолеты, – сказал я, – сборные модели. Особенно военные.

– Я тоже, – ответил Митёк, – только давно.

– Гэдээровские наборы мне нравились. А в наших часто не было летчика. Тогда такая лажа получалась. Когда кабина пустая.

– Точно, – сказал Митёк. – А чего это ты об этом заговорил?

– Я вот думаю, – сказал я, показывая вилкой на висящий перед нашим столом картонный звездолет, – есть там внутри кто-нибудь или нет?

– Не знаю, – сказал Митёк. – Действительно, интересно.

Лагерь был расположен на пологом склоне горы; его нижняя часть образовывала что-то вроде парка. Митёк исчез, и я пошел туда один; через несколько минут я оказался в длинной и пустой кипарисовой аллее, где

было уже полутемно. Вдоль асфальтовой пешеходной дорожки тянулась длинная проволочная сетка, на которой висели большие фанерные щиты с рисунками. На первом был пионер с простым русским лицом, глядящий вперед и прижимающий к бедру медный горн с флажком. На втором – тот же пионер с барабаном на ремне и палочками в руках. На третьем – он же, так же глядящий вдаль из-под поднятой для салюта руки. А дальше висел щит раза в два шире остальных и очень длинный – метра, наверно, в три. Он был двухцветным: справа, откуда я медленно шел, – красным, а дальше – белым, и делила эти два цвета набегающая на белое поле рваная волна, за которой оставался красный след. Я сначала не понял, что это такое, и только когда подошел ближе, узнал в переплетении красных и белых пятен лицо Ленина с похожим на таран выступом бороды и открытым ртом; у Ленина не было затылка – было только лицо, вся красная поверхность за которым уже была Лениным; он походил на бесплотного бога, как бы проходящего рябью по поверхности созданного им мира.

Я споткнулся о выбоину в асфальте и перевел взгляд на следующий щит – это был пионер, но уже в космическом костюме, с красным шлемом в руке; на шлеме была надпись «СССР» и острая антенна. Следующий пионер высовывался из летящей ракеты и отдавал честь рукой в тяжелой перчатке. И последним был пионер в скафандре, стоящий на веселой желтой поверхности Луны рядом с космическим кораблем, похожим на картонную ракету из столовой; у него были видны только глаза, абсолютно такие же, как на остальных щитах, но из-за того, что вся остальная часть лица была скрыта шлемом, они казались полными невыразимой тоски.

Сзади долетели быстрые шаги – я обернулся и увидел Митька.

– Точно, – сказал он, подходя.

– Что точно?

– Смотри. – Он протянул мне ладонь, на которой было что-то темное. Я разглядел небольшую пластилиновую фигурку, голова которой была облеплена фольгой.

– Там внутри было маленькое картонное кресло, на котором он сидел, – сказал Митёк.

– Ты что, ракету из столовой разобрал? – спросил я.

Он кивнул.

– Когда?

– А только что. Минут десять назад. Самое странное, что там все... – Он скрестил пальцы, образовав из них решетку.

– В столовой?

– Нет, в ракете. Когда ее делали, начали с этого человечка. Слепили, посадили на стул и наглухо обклеили со всех сторон картоном.

Митёк протянул мне обрывок картонки. Я взял его и увидел очень тщательно и мелко нарисованные приборы, ручки, кнопки, даже картину на стене.

– Но самое интересное, – задумчиво и как-то подавленно сказал Митёк, – что там не было двери. Снаружи люк нарисован, а изнутри на его месте – стена с какими-то циферблатами.

Я еще раз поглядел на обрывок картонки и заметил иллюминатор, в котором голубела маленькая Земля.

– Найти бы того, кто эту ракету склеил, – сказал Митёк, – обязательно бы ему по морде дал.

– А за что? – спросил я.

Митёк не ответил. Вместо этого он размахнулся, чтобы швырнуть человечка за проволочную сетку, но я поймал его за руку и попросил отдать фигурку мне. Он не возражал, и следующие полчаса ушли у меня на то, чтобы отыскать пустую сигаретную пачку под футляр.

Эхо этого странного открытия настигло нас на следующий день, во время тихого часа. Открылась дверь, и Митька позвали; он вышел в коридор. Долетели обрывки разговора, несколько раз прозвучало слово «столовая», и все стало ясно. Я встал и вышел в коридор. Митька зажимали в углу усатый

худой вожатый и рыжая низкая вожатая.

– Я тоже там был, – сказал я.

Вожатый одобрительно смерил меня взглядом.

– Вместе хотите ползти, или по очереди? – спросил он.

Я увидел у него в руке зеленую сумку с противогазом.

– Ну как же они вместе поползут, Коля, – застенчиво сказала вожатая, – когда у тебя противогаз один. По очереди.

Митёк, чуть оглянувшись на меня, шагнул вперед.

– Надевай, – сказал вожатый.

Митёк надел противогаз.

– Ложись.

Он лег на пол.

– Вперед, – сказал Коля, щелкая секундомером.

Коридор был длиной во весь корпус, поверхность пола была затянута линолеумом, и когда Митёк пополз вперед, линолеум тихо, но неприятно завизжал. Конечно, Митёк не уложился в три минуты, которые назначил вожатый, – он не дополз за них даже в один конец, – но когда он подполз к нам, Коля не заставил его повторить маршрут, потому что до конца тихого часа оставалось всего несколько минут. Митёк снял противогаз. Его лицо было красным, в каплях слез и пота, а на ступнях успели вздуться натертые о линолеум волдыри.

– Теперь ты, – сказал вожатый, передавая мне мокрый противогаз. – Приготовиться...

Загадочно и дивно выглядит коридор, когда смотришь в его затянутую линолеумом даль сквозь запотевшие стекла противогаза. Пол, на котором лежишь, холодит живот и грудь; дальний его край не виден, и бледная

лента потолка сходится со стенами почти в точку. Противогаз слегка сжимает лицо, давит на щеки и заставляет губы вытянуться в каком-то полупоцелуе, относящемся, видимо, ко всему, что вокруг. До того, как тебя слегка пинают, давая команду ползти, проходит десятка два секунд; они тянутся томительно медленно, и успеваешь многое заметить. Вот пыль; вот несколько прозрачных песчинок в щели на стыке двух линолеумных листов; вот покрашенный сучок на планке, идущей по самому низу стены; вот муравей, ставший после смерти двумя тончайшими лепешечками и оставивший после себя маленький мокрый след в будущем – в полуметре, там, куда нога шедшего по коридору ступила через секунду после катастрофы.

**Конец ознакомительного фрагмента. Читать дальше:**

[Перейти](#)